

*Автор посвящает этот
роман памяти Ильяса Эфендиева*

Рисунок Марины Медведевой

11.

И в ту бессонную ночь, лежа в темноте на своей кровати, князь Цицианов вдруг вспомнил Бабуа Арчила. Перед глазами возникло лицо Бабуа Арчила — усталые, улыбающиеся голубые глаза, осунувшееся лицо, в морщинах лоб и щеки, длинные, подкрученные вверх, желтые от табака седые усы... И по всему его существу прошла волна удивления: гляди-ка, который год Бабуа Арчил ему не вспоминался, а тут, впервые с того дня, как оказался в этом сказочном мире, о котором рассказывал Бабуа Арчил, вспомнил.

Но мир оказался отнюдь не сказочным.

Бабуа Арчил ушел в лучшие веси, сидя у окна своего московского дома, мысленно глядя на горы Грузии, которых не видел пятьдесят лет; и у князя Цицианова, представляющего его как и прежде сидящим в кресле, родилось такое чувство, будто он отчего-то предал Бабуа.

Князь непроизвольно глянул вверх, в потолок, сказал:

— Здравствуй, Бабуа!.. Ты меня видишь?

В ночной тиши ему показалось, что голос прозвучал слишком громко, он опасливо глянул на дверь: слышал ли его дежурный офицер? Впервые за годы армейской жизни обеспокоился, что кто-то услышит его. Снова, в который раз за эту бессонную ночь, осерчал сам на себя: что за сантименты? Что за ребячество?

И в этот момент, снова впервые за многие-многие годы, ему привиделись те, в заспиртованной колбе, две головы, они словно шептали друг другу латинское «Memento mori» — «Помни о смерти».

«Кажется, эта ночь враждебна мне», — подумал он, привстав, сел на краешек кровати. И вдруг родилось желание: как было в далеком детстве, вбежать в спальню своей гувернантки мадам Женон, прижаться к ней, забыть обо всем, ничего не бояться.

Чего ты боишься, князь?

Разные думы одолевали его в ту бессонную ночь, одна из них — вероятно, она и заставила его приподняться и в одной ночной рубашке присесть на краешек кровати — особенно часто беспокоила в последнее время: Бонапарт пойдет войной на Россию... Эта изнуряющая сознание мысль вновь и вновь посещала его, прежде чем он засыпал. В темноте перед глазами вставала знаменитая треуголка Бонапарта, казалось, она, как светильник, хотела ворваться, разорвать тело Российской империи.

Рано или поздно Бонапарт объявит войну России — да, в этом князь несколько не сомневался. Если даже корсиканец обезопасит себя от Англии, окончательно поставит на колени Австрию, Пруссию, Италию, Испанию, изгонит Османов из Восточной Европы — Франции с Россией в тылу не стать страной-гегемоном, а Наполеону — самодержцем всего мира. Россия была преградой, камнем преткновения его ненасытных амбиций.

Какие бы обязательства ни брал на себя Наполеон, какие бы договоры ни подписывал — рано или поздно он предпримет поход на Россию.

Но готова ли к этому Россия?

Кто поможет России? Никто.

Россия всегда была одинока и вечно будет одинока, потому что она по складу характера, внутренней природе чужда Европе. Потому что внутри России, этой страны морозов и метелей, существует такое горение, такая простота и милосердие, каких нигде нет в Европе и, как убежден князь Цицианов, никогда не будет. Это горение, простота и милосердие порой обращались в простодушие, приводили к отсутствию самооценки, слепому преклонению перед иностранцами, признанию заранее их превосходства, что всегда вызывало гнев князя Цицианова.

Разумеется, русский солдат — солдат не прусский или австрийский, он никогда не трясется над жизнью. Но и Бонапарт — генерал не ординарный... Цицианов ощутил, что в этой темной комнате по его лицу скользнула улыбка: подумать только! Они, то есть русские генералы, в том числе и князь Цицианов, могли стать коллегами Бонапарта. Дело в том, что, когда Екатерина II нанесла поражение туркам, молодой Бонапарт прибыл в Петербург, желая поступить на службу в русскую армию — об этом князю рассказывал знавший все новости раньше прочих друг его юношеских лет — Николенька, граф Николай Тимофеев-Богоявленский. Один из талантливейших русских генералов, Тимофеев-Богоявленский — участник знаменитого перехода фельдмаршала Суворова через Альпы — к сожалению, который год из-за ранения позвоночника прикован к постели. Это были те времена, когда несчастный Павел заключил с Англией, Турцией, Австрией и двумя сицилийскими королевствами союз против Франции.

Князь Цицианов не сомневался, что Его Величество российский император, несмотря на молодость, хорошо просчитывает создавшуюся ситуацию — но вокруг него столько скудоумных чинуш, неспособных достойно оценить сложившееся положение! Выклянчить у императора очередной орден, заслужить его улыбку, пресмыкаясь перед ним, добиться званий — расплотившиеся во дворце чинуши этим только и жили.

Поэтому генералов, недостойных имени русского солдата, наверное, больше, нежели достойных, да и в Кавказской армии их немало. И князь Цицианов раз за разом отправлял подобных в отставку, часто — несмотря на их весьма влиятельных и занимающих высокие посты покровителей. Что смогут противопоставить люди, ставшие ге-

нералами только благодаря протекции, французам — Мюрату, Нею, Ланну, Даву¹?

В эту бессонную ночь князь и принял решение — завтра же написать императору.

...Впрочем, хватит об этом, следует спать. Но, чтобы уснуть, необходимо, дабы тебя сморил сон. Цицианов улыбнулся самому себе: сон, к сожалению, на военной службе не состоит, сну не прикажешь.

Князь всей душой презирал тех горе-генералов, чьих заслуг перед Россией куда меньше, нежели орденов и медалей на груди, которыми они кичились друг перед другом. Он нисколько не скрывал своего презрения, оттого и в генералитете было немало его недоброжелателей. Все полученные им награды — многочисленные ордена и медали — ему дороги, свидетельствовали о реальных победах на конкретных полях сражений. Он гордился ими, но надевал парадный мундир только в особые, памятные дни. Любил носить только что учрежденную императором Александром в честь взятия Гянджи, специально отлитую по его представлению из чистого серебра медаль, которую полагалось иметь при походном мундире. Три тысячи семьсот таких медалей отправлены главнокомандующему, но на оборотной их стороне были выгравированы следующие слова: «За труд и храбрость при взятии Гянджи», что вызвало гнев князя — ясно, что втиснутое слово «труд» было делом рук болванов, что просиживали штаны в Петербурге и украшали свои мундиры наградами за несуществующие «труды». В ту же ночь князь с особой реляцией вернул медали обратно, написав Его Величеству императору соответствующее письмо с просьбой расплавить те медали и заново отлить 1560 экземпляров новых, на которых не было бы слова «труд», и чтобы ими награждали только тех, кто непосредственно участвовал в осаде и взятии Гянджи. И чтобы средства после расплавки прежних медалей пошли на отливку колокола тифлисской церкви. Конечно, возвращение учрежденных, уже отлитых медалей было исключительной дерзостью, этот акт мог иметь серьезные последствия: уж доброты в Петербурге постарались бы! — но последнее слово было за императором, и Его Величество принял предложение Цицианова.

В ту бессонную ночь князь Цицианов снова обратился мыслями к Бонапарту: если тому удастся поприжать Россию — главнокомандующий даже мысленно не хотел произносить

¹ Наполеоновские маршалы.

«п о р а ж е н и е», — что в таком случае ожидает Южный Кавказ? Столько мук и жертв, столько пролитой крови, столько потраченных средств, постоянное напряжение сил, и все — коту под хвост?!

Князь видел свою миссию не в решении чисто территориального вопроса, а в долге мирового значения — полного и безусловного вхождения Южного Кавказа в состав России. Понимали это или нет сидящие в Петербурге чиновники, было ли отношение лично к нему доброжелательным или отрицательным, оценивали его деятельность положительно или напротив — все это не имело для князя Цицианова ни смысла, ни значения. Главное, чтобы была великая Российская империя, а останется ли через сто, двести лет в истории имя Павла Дмитриевича Цицианова, генерала от инфантерии, по существу, не имело смысла, ибо если нет самого человека, увековечение его имени не имеет значения, потому что главней всего — Родина.

Какая Родина?

Князь Цицианов и сам вздрогнул от этого вопроса.

Что за дурацкий вопрос?

Но князь Цицианов не из тех, что уходит от подобных каверз, иногда необходимо отвечать и на дурацкие вопросы, чтоб все было ясно и определено.

Екатерина Великая — немка, кто являлся отцом несчастного Павла — известно одному Богу, есть ли в венах Александра хоть капля русской крови — тоже тайна за семью печатями, и зная, что знали все, князь Цицианов не должен был скрывать и от самого себя эти тайны — главное, есть великая Россия, и эта великая Россия — его Родина.

Князь Цицианов любил Александра, молодого, умного, красивого, высококультурного императора, любил идущей от сердца любовью и распорядился, чтоб во всех мечетях Грузии и Гянджи и в целом на всех покоренных им территориях во время намаза возносились молитвы в честь императора и его семьи. Он также распорядился, чтобы рескрипты — благодарственные письма, направленные ему императором, — зачитывались во всех воинских частях, вне зависимости от того, где те дислоцировались. Князь Цицианов гордился этими рескриптами.

Но он, генерал от инфантерии, князь Павел Дмитриевич Цицианов, служил не лично императору Александру, точно так же, как не служил лично незабвенной Екатерине — она называла его «мой генерал», — не служил и несчастному Павлу. Он всегда служил России, и, думая об этом, ощущал внутреннюю гордость; все, что он



совершал с помощью своего меча, делалось от всего сердца, делалось с любовью, ради интересов Российской империи, он только исполнял свой долг — долг русского офицера. Он не нашел времени, возможности жениться, обрести семью, все его мысли и пристрастия сконцентрировались в разящем, державном мече, что он прочно удерживал в руке.

Вот потому-то, князь, в эти свои немалые годы ты и остался бобылем! Большая часть жизни прожита, сколько осталось?

«Memento mori...»

В любом случае, если смерть неизбежна, неминуема, какая разница, одинок ты или обременен семьей, кто ты и что ты? Кто знает смысл всего этого? Никто! И никогда и никто не узнает: ворота, затворившие божественные тайны, смертному не открыть.

Достаточно, князь! Теперь ты уже становишься философом-богословом?

Князь Цицианов был русским офицером; личная жизнь, национальные корни в сравнении с честью русского офицера не имели для него никакого значения.

Так-то оно так... но порой... особенно в последнее время... издавека, из самой глубины его души, доносился слабый, бессильный зов, и та отдаленность, та глубина словно были глубиной веков; да, ослабевший, истончившийся зов доносился, сорвавшись из дальней дальности веков.

И подобный зов не нравился князю Цицианову.

К какому роду-племени принадлежал Иисус Христос, кто он был по национальности — имеет ли это значение хотя бы для одного из миллионов, поклоняющихся ему? Нисколько!

Почему ты думаешь, что накануне ухода в лучший мир сидящему у окна своего московского дома Бабуа Арчилу виделись горы Грузии? Что за выдумки? Что за дешевая романтика? А может, в те последние мгновения Бабуа вспоминал своих бывших любовниц — московских красавиц? Разве этого не могло быть?

И в темноте своей спальни он произвольно глянул в потолок, и ему привиделось, словно оттуда, сверху, улыбаясь всегдашней доброй улыбкой, Бабуа говорит с гортанным грузинским акцентом: «Иисус был сыном Создателя, а твой отец и мой друг Дмитрий — сыном Пааты».

Хватит!

Достаточно, возьми себя в руки, князь.

Но откуда это пришло? Этот хриплый, дрожащий голос донесся из преисподней? Это был голос разбойника Емельки: «Прости мои грехи, о православный народ!..»

Все существо князя охватила ярость: теперь этот сатанинский пес Емелька дает ему уроки совестливости? Да, князь Цицианов привел Великую Россию на Кавказ на штыках, но придет время, Кавказ узнает и другую Россию, и эта другая Россия обеспечит краю мир и стабильность, откроет школы, театры, станет издавать газеты и журналы, и та Россия будет не Россией пули и штыка, а — Россией пера и добра.

Но... что сможет сделать на Кавказе эта Россия пера? Кавказ может взорвать Россию изнутри, кавказцы, держа в одной руке перо, в другой — кинжал, могут устроить такую бучу, что все эти Мараты, Робеспьеры, Дантоны окажутся присказкой. Кавказцы придут и возглавят Россию, и как в таком случае сложится судьба державы? Они будут уничтожать друг друга, а в России один из них станет неким Наполеоном.

В это время князю вспомнился палач Сансон¹, отрубивший сотни голов, в том числе и голову Дантона. Книгу мемуаров палача, изданную несколько лет назад в Париже, он прочел, будучи в Петербурге. Сансон нисколько не тяготился своей профессией. Этот известный палач сначала орудовал топором, затем, после ее изо-

¹Казнивший в общей сложности 2918 человек, Шарль Анри Сансон был наследственным палачом. Его воспоминания были изданы, но впоследствии стало известно, что воспоминания писал не он, а Бальзак.

бретения, казнил с помощью гильотины; в своей книге он описывал, как вели себя его жертвы, что говорили на смертном одре. И в эту бессонную ночь князь Цицианов вспомнил то, что сказал палачу в последние свои мгновения сам Дантон: «Не забудь поднять и показать мою голову толпе, подобные головы доводится видеть не часто».

Князь Цицианов резко потрянул головой, словно хотел отогнать и выбросить из головы мрачные, как эта комната, мысли, и тут ему внезапно вспомнилось, что Бабуа Арчил заставлял его вызубрить какое-то слово... Что было за слово? Что означало?

И в тот же миг Бабуа Арчил возник перед его глазами: «Паата, повтори!»

Что? Что означало это слово?

«Повтори!..»

«Повтори еще раз!..»

«Скажи громче!..»

«Говори смелей!..»

За прошедшие долгие годы слово выпало из сознания Цицианова, и после стольких лет в эту ночную пору он не стал насиловать свою память.

Князь пошарил рукой по тумбочке, нашел, зазвонил в маленький колокольчик.

Казалось, ординарец стоял за порогом.

— Слушаю, ваше сиятельство!

То, что ординарец столь мгновенно вошел в спальню, отчего-то не понравилось Цицианову, и он сказал рассерженно:

— Принесите мне воды.

Казалось, и теперь не прошло и секунды, как офицер вернулся и протянул чашку с водой.

Свет нефтяного светильника из приоткрытой двери примыкающей к спальне комнаты лишь очерчивал фигуру офицера, князь не видел его лица, тот стоял, ожидая возврата чашки, это тоже раздражало главнокомандующего, и отчего-то он вдруг вспомнил (поистине эта ночь — ночь воспоминаний) майора Лисаневича: узкие серые глаза того талантливого офицера, назначенного командиром гарнизона Шуши, словно были в тревоге, будто он все время находился в засаде, за кем-то следил, постоянно высматривал свою жертву.

— Можете идти!

Ординарец вышел из комнаты.

Что это за слово?

Князь сделал несколько глотков, поставил чашку на тумбочку.

Видимо, одиночество, отсутствие семьи, детей на самом деле противоречат законам природы, и с возрастом эти противоречия начинают

сказываться. Но теперь это уже от тебя не зависит.

Князь Цицианов в этой темноте, словно в зеркале, ясно увидел ту давнюю горестно-саркастическую улыбку, что осела на губах, и это еще больше обескуражило его.

Но если ты толкуешь о законах природы, то Создатель не забыл тебя: в этом мире станут жить твои внуки, правнуки, праправнуки, правда, они не будут ничего знать о тебе, ну и что? Не эгоизм породил законы природы, и ты, князь, не соотноси законы природы со своим эго — твои наследники не будут знать тебя, но в их венах будет кипеть твоя кровь, и они станут служить родине так, как служили их отец и дед.

Погоди, генерал! Что это, отчего ты пытаешься столь убого утешать себя? Да, речь идет не о твоих потомках, а маркиза Жерара де Лафонжена. На какой родине они будут жить, какой отчизне станут служить, князь?

Мишель...

Полученное некоторое время назад неожиданное письмо Натальи Аркадьевны де Лафонжен, казалось, оставшейся в недостижимом, непроглядном прошлом, взорвалось в душе князя Цицианова, будто снаряд.

В жизни князя, разумеется, было немало женщин, но самой чистой, с трепетной душой была Натали — маркиза де Лафонжен. Тифлис и в целом Кавказ, конечно же, не Петербург, Москва или же Варшава, но и здесь у князя Цицианова завязывались какие-то тайные романы. Но ни один из них не оставлял в его жизни следа, эти романы — по сути, их и романами назвать нельзя, — были естественной потребностью организма, такой, как утоление жажды или голода. Герои петербургских аристократических салонов постоянно жили в поиске любовных интрижек, приключений, их верные жены, в свою очередь, наставляли им рога, но Натали... Натали была совершенно другой, она напоминала белых и нежных бабочек, которых он ловил сачком в детские годы в подмосковных садах; казалось, все существо Натали такое же хрупкое и незапятнанное, как белые крылышки бабочек. Натали была одной из прелестных и несчастных девушек аристократического общества Петербурга. Она построила семью не по любви, ее выдали замуж по расчету: маркиз Жерар де Лафонжен являлся представителем древнего и состоятельного французского рода, это родство повышало значимость и вес ее отца — графа Аркадия Разумовского — в глазах двора и общества.

Но если Создатель сотворил ее столь чистой и прекрасной, имела ли она право хоть раз в жизни

полюбить? И Всевышний одарил ее такой любовью. Натали всей душой полюбила его — командира Санкт-Петербургского гренадерского полка князя Цицианова. Для нее, для Натали, это была греховная страсть, которая приносила ей душевные муки, она не совладала с этими страданиями, и они расстались.

Князь, конечно же, сжег ее письмо, но помнил его наизусть.

* * *

ОН ничего не ощущал: ни боли, ни голода, ни жажды, ни тревоги, ни заботы.

И это словно делало ЕГО бесплотную и невесомую субстанцию еще более умиротворенной и свободной.

Но это приводящее в изумление, постепенно углубляющееся сожаление никак не согласовывалось с этой умиротворенностью и свободой, и что бы ни проносилось сквозь ЕГО окончательно пробудившуюся память, что бы ОН ни видел в том видимом измерении — это изумление и сожаление обращались в некое чувство бессмысленности и уводили ЕГО в бесконечную неведомость вопроса: почему?

* * *

На этой тесной и безлюдной улице ощущалась кавказская аура, она напоминала одну из улиц тифлисского квартала Шайтан-Базар, но узкий тротуар ее покрыт киром¹, а кир означал нефть, и, конечно же, это была одна из улочек Бакинской крепости.

Речные камни, устилавшие улицу, словно тосковали в эту утреннюю рань о человеческих шагах.

Вдалеке, по самой середине улицы, шла собака. Весь вид этой праздношатающейся, приближающейся собаки свидетельствовал о таком же, как эта улица, одиночестве и бесприютности.

И вдруг ЕМУ почудилось, что эта медленно бредущая по тесной, устланной речным камнем улице в поисках, чем бы поживиться, собака на самом деле — ОН сам...

...Вот так: не собака, медленно бредущая по улице, а ОН сам...

Но это внезапно родившееся чувство растаяло, исчезло в бестелесности и невесомости ЕГО субстанции...

¹ Кир — подобие асфальта.

Цитирую письмо маркизы Натали де Лафонжен.

«Тифлис.

Его сиятельству князю П. Д. Цицианову.

Князь, садясь за это второе, вероятно, последнее письмо, я трепещу, быть может, не меньше, чем в ту ночь, семнадцать лет назад, когда приналась Вам в своей любви.

Князь!

Вчера Вашему сыну Михаилу — Мишелю де Лафонжену — исполнилось шестнадцать лет.

Это не описка, князь.

Мишель де Лафонжен — Ваш сын.

До сих пор об этом на свете знали только Создатель и я, грешная, падшая женщина.

Теперь это знаете и Вы.

Уже шестнадцать лет, всякий раз прижимая к груди Мишеля, я переживаю нравственные муки из-за своего предательства по отношению к мужу, Жерару Лафонжену.

Да, я любила Вас, князь, эта любовь была подобна урагану, началась и в течение месяца завершилась.

Не входя в подробности этой любви и этой разлуки, я не хочу заново расстраивать Вас, равно как и себя.

Вы и сегодня дороги мне как настоящий отец моего единственного сына, но это несколько не облегчает переживаемые мной многие годы нравственные муки и страдания. Вдобавок к ним по мере взросления Мишеля, наблюдая за его успехами, я переживаю еще большие душевные муки и за Вас: отчего Вы не должны знать, что у Вас есть такой сын? Ведь грешна я, а в чем вина Ваша? Я разбудила этот ураган, я и должна носить в себе эту боль.

Маркиз Жерар безумно любит своего сына, с той же страстью Мишель любит своего отца Жерара де Лафонжена, гордится им, во всем стремится подражать ему.

Вы, конечно же, понимаете меня.

На днях мы переезжаем во Францию.

Не знаю, простит ли меня Господь или нет, но мне остается лишь день и ночь молить Его об этом. Но зная Ваше сердце, князь, во мне теплится хоть небольшая, но все же надежда, что и Вы простите меня.

Эта надежда придала мне смелости, и я написала Вам правду.

Когда я думаю, какие чувства станете переживать Вы по получении письма, меня охватывает ужас, но у меня не было иного выхода.

Князь, мне известно Ваше благородство, и я знаю, что Вы бросите в огонь, сожжете это письмо, точно так, как сожгли мое первое, написанное семнадцать лет назад.

Кроме нас — Вас и меня — эту тайну будет знать только Всевышний.

Прощайте.

Всегда помнящая и обреченная до конца жизни помнить Вас,

маркиза Натали де Лафонжен

16 марта 1805 года

Санкт-Петербург».

В те последние осенние дни — был ноябрь 1805 года — князь Цицианов, собираясь в поход на Баку, избрал местом стоянки очередного военного лагеря равнину, где сливались Кура и Аракс. И несмотря на слабость, озноб и раздражение, вызванные лихорадкой, что не отпускала его который день, ему нравилось журчание воды, доносящееся со стороны Куры, казалось, это журчание приносило ему умиротворение.

В первый день прибытия в Тифлис Кура напомнила ему родную Неву, тогда князь пережил странное чувство: словно то, что Кура напоминала ему Неву, имело необъяснимый и неприятный оттенок, и это его раздражало.

Не обращая внимания на мольбу своего адъютанта полковника Грендфальда: «Нельзя, ваше сиятельство! В этом состоянии вам не следует выходить наружу! Я прошу вас!..» — он в это морозное, рассветное утро вышел, чтобы лично все обойти, самому проверить положение в лагере. И то, что накануне похода в Баку, которому он придавал особое значение, его подхватила эта подлая хворь, после очередной мучительной ночи сказывалось на всем его настрое с той самой минуты, что он проснулся.

Когда у него начинался озноб, полковник Грендфальд или второй адъютант, подполковник князь Эристов, накрывали его изготовленным азербайджанцами, набитым толстой шерстью стеганым одеялом. Затем его бросало в жар, прошибал такой пот, что становилась влажной не только ночная рубашка, но даже матрац и одеяло. Через какое-то время озноб снова возвращался, и князь Цицианов хотел именно в этот короткий промежуток, между жаром и ознобом, сам обойти лагерь.

Он знал лично многих офицеров, иногда даже некоторых рядовых, и на сей раз уже издали узнал старослужащего — капитана Сухарева: вместе с

каким-то поручиком они вели куда-то кавказца со связанными за спиной руками.

— Сухарев! — крикнул явно ослабевшим от лихорадки голосом князь.

Сухарев и поручик придержали шаг, обернулись и, увидев в предрассветной мгле главнокомандующего, вытянулись во фрунт.

Князь Цицианов вместе с полковником Грендфальдом подошли к ним, кавказец, поняв, что приблизившийся человек — кто-то из имеющих высокий чин, устремил на князя полные страха и любопытства глаза.

— Что случилось? — спросил князь Цицианов, скользнув взглядом по кавказцу.

— Ваше сиятельство, этот туземец пытался угнать коня поручика!

Еще больше вытянувшись, поручик представился:

— Поручик Глушков!

Ослабевшие, обессиленные после мучительной ночи глаза князя Цицианова сверкнули гневом. Посмотрев на все еще глядящего на него с надеждой кавказца, он спросил:

— Он что, хотел угнать коня из лагеря? — затем, уставившись прямо в глаза кавказца, добавил: — Откуда такой он явился?

Под гневным взглядом князя кавказец будто съезжился, стал даже казаться меньше ростом, явно осознав, что дела его совсем плохи.

— Видимо, из села Сумахлы, тут рядом, ваше сиятельство. Поручик услышал какие-то шорохи, схватил его, — ответил Сухарев.

— А как он проник в лагерь? — уже в ярости спросил Цицианов.

Все так же вытянувшийся во фрунт Сухарев промолчал.

Цицианов, не оборачиваясь к Грендфальду, бросил:

— Разберитесь, доложите мне!

В свою очередь фон Грендфальд, также вытянувшись, с немецкой четкостью выпалил:

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

Глядя с презрением на кавказца, будто перед ним было нечто отвратное, грязное, князь спросил:

— Куда вы его ведете?

— С вашего позволения хотим вздернуть перед всем лагерем. Пусть это станет уроком и для других туземцев!.. — ответил Сухарев.

То, что какой-то прощелыга, конокрад, смог запросто пробраться в военный лагерь, в его лагерь, окончательно вывело главнокомандующего из себя, к тому же он чувствовал, что вот-вот снова подступит озноб.

— Нет! — приказал. — Снимите с него все это тряпье, штаны ниже пояса, привяжите покрепче к ослу и отпустите! Пусть в дом, куда он хотел привести коня, его гольшом приведет осел!

Наступила тишина; не знающий русского и оттого не ведающий о своей будущей судьбе кавказец с явным испугом и страхом переводил взгляд с Цицианова на фон Грендфальда, затем с Сухарева — на поручика. И в это время капитан Сухарев неожиданно заявил:

— С кавказцами так поступать нельзя, ваше сиятельство! Их можно повесить, расстрелять, но так унижать нельзя!

Цицианов пораженно посмотрел на Сухарева: жалкий, безродный капитанишка осмеливается в подобной форме обсуждать приказ главнокомандующего, учит, как ему обращаться с кавказцами!

И в это время, совершенно неожиданно, перед его глазами ожило озабоченное лицо его друга, впрочем, не так уж и друга (если был на свете некто, кого он мог назвать другом, это был Коля, Николай Тимофеев-Богоявленский; впрочем, «друг» понятие условное, придуманное людьми), просто хорошего знакомого, приятеля: барона Федора Уолтфилда.

Барон Уолтфилд, одно время герой аристократических салонов Петербурга, умер почти двадцать лет назад от инфлюэнцы. За эти двадцать лет на памяти князя Цицианова ни разу не было дня, чтобы он так внезапно вспомнил барона Уолтфилда, всегда веселого, слывшего душой общества. Но сейчас расстроенное лицо барона вдруг ожило перед глазами Цицианова. Это был тот самый день, когда весь Петербург с поздравлениями стекался в поместье барона на берегу Невы. За день до этого, после нескольких лет бездетности, на свет появилось первое чадо барона, и тогда Уолтфилд с фужером шампанского в одной руке, а другой взяв под руку Цицианова — отчего именно Цицианова, а не кого-то другого? — отвел его чуть в сторону и с печалью в голосе, которую всячески хотел скрыть от всех, признался:

— Мы не знаем, мальчик это или девочка.

Князь Цицианов удивленно глянул на него:

— Я вас не понял, барон...

— Лучше вам и не понимать, князь... Губерман говорит... — Уолтфилд глубоко вздохнул, помолчал, затем добавил: — Губерман утверждает, что ребенок гермафродит...

Получивший образование в Гейдельбергском университете, приглашенный в Россию еще во времена Екатерины II, доктор Натан Соломонович Губерман слыл самым известным и авторитетным

гинекологом Петербурга. Ставить под сомнение его диагноз, возражать что-то было бы ложным утешением, поэтому Цицианов лишь коснулся фужером с шампанским фужера барона.

После внезапной кончины барона Уолтфильда его вдова вернулась на свою родину, в Пруссию, а как сложилась или не сложилась судьба их ребенка-гермафродита, знал лишь Всевышний. Впрочем, судьба младенца — как и каждого из нас — была делом самого Всевышнего, и вмешиваться в Его дела не следовало.

Отчего вдруг вспомнилось это событие? Бледное от болезни лицо Цицианова покраснело. После слов безродного капитана он почувствовал себя кем-то вроде национального гермафродита; что это, отчего подобные глупые бредни приходят в голову?

Эти ненужные и бессмысленные воспоминания и мысли, его собственная память настолько огорчили Цицианова (к тому же он с досадой почувствовал, что покраснелся на глазах офицеров от подступающей лихорадки), что он обжег капитана Сухарева суровым взглядом, словно причиной его огорчения и был служивый капитан, и, сам того не ожидая, гаркнул:

— Свинья, я не нуждаюсь в твоих советах!

По лицу хорошо знакомого с подобными вспышками гнева адъютанта фон Грендфальда скользнула еле заметная улыбка — своей приплюснутой физиономией капитан Сухарев на самом деле напоминал незадачливую хавронью. Вообще-то, вопреки немецкой сдержанности и умению никогда не выдавать свои чувства, полковник Грендфальд сегодня был в приподнятом

настроении: его восьмилетняя дочь Изольда впервые в жизни самостоятельно написала отцу письмо, и получивший его прошлым вечером полковник прочел его с гордостью и удовлетворением: в этом первом письме, написанном Изольдой на немецком языке, не было ни одной грамматической ошибки!

Саркастическая полуулыбка на губах фон Грендфальда не осталась не замеченной Сухаревым: генерал, туземец по происхождению, вместе с этим «фоном» оскорбляют русского офицера!

С той же яростью в голосе главнокомандующий приказал не капитану Сухареву, а Глушкову:

— Поручик, выполняйте приказ и доложите мне лично!

Все это время не осмелившийся даже пикнуть, вытянувшийся во фронт поручик Глушков, видимо, желая освободиться от напряжения, торопливо выпалил:

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

— Можете идти! — рявкнул князь Цицианов.

С трудом подавляя готовую выплеснуться наружу, разрывающую его ненависть, капитан Сухарев вместе с поручиком Глушковым и трясущимся за свою жизнь кавказцем ушли прочь.

Глядевший вслед им полковник Грендфальд, хорошо зная, что даже в лихорадке князь через какое-то время потребует к себе поручика и лично спросит, исполнен ли приказ, подумал, что лучше на всякий случай самому проконтролировать исполнение приказа — раздеть догола кавказца ниже пояса и отправить его восвояси, привязав к спине осла.

Продолжение следует.

